



Акад. Р. Ю. Виппер

МОРАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ АВЛА ГЕЛЛИЯ

В истории античной культуры поражает быстрота ее подъема и резкость ее падения. От начала греческой мысли, от Гомера, Гесиода, Пифагора, не прошло и тысячи лет, как вся премудрость эллинская была осмеяна и низвергнута ревнителями христианства. В области философии и науки выдающиеся умы античности совершают великие открытия, но не могут образовать традицию, создать школу: крупнейшие достижения гаснут, забываются, исчезают во мраке наступающего за ними варварства.

Вот два примера, характеризующие высокий взлет и вместе с тем хрупкость, обрывчатость античной культуры.

В III в. до н. э. Аристарх Самосский открывает вращение земли вокруг солнца. Последующая астрономия не принимает этого открытия, возвращается к прежнему наивному геоцентризму, теория Аристарха подвергается забвению; мы узнаем о ней как о некоем курьезе из поразительной по своей детской беспомощности статьи Плутарха «о фигуральном лике Луны».

В I в. до н. э. в поэме Лукреция «О природе вещей» излагается материалистическое мировоззрение, объясняется возникновение и развитие мира «без участия богов» (т. е. сверхъестественных сил), обосновывается факт органического слияния в одно целое души и тела. Не проходит и ста лет, как ясное научное построение передовой школы философии заменяется (у Сенеки, а потом у христиан) богоискательством, туманным мистицизмом, проклятиями телу, как «темнице души», вере в загробную жизнь и т. п.

Мне хотелось бы на другом примере показать, что античный мир не бесславно погибал, что общество Римской империи пыталось реформироваться, подняться из упадка, омолодить свое старчество.

• Таким напряжением интеллектуальных сил отличается эпоха Антонина Пия и Марка Аврелия (138—180 гг.). Для ближайшей цели, которую я имею в виду, — выяснения идей моральной реформы просветительного века — я выбираю Авла Геллия и его «Аттические ночи» (жил от 125 или 130 до 175 г.; сборник составлен не раньше конца 60-х гг. II в.).

Не буду спорить сейчас с классиками, оценивающими Авла Геллия очень низко как бессистемного компилятора, как «прислужника науки». Для меня Геллий очень важен, как наилучший выразитель оптимистической безрелигиозной морали римского стоицизма, сделавшегося основой просветительной политики Антонина Пия и Марка Аврелия.

О жизни и литературной деятельности Геллия мы знаем немного. Сам он сообщает нам, что с молодых лет избрал карьеру юриста-практика, что досуги для писания книги он урывал лишь украдкой. Ему было около 30 лет, когда он поехал в Афины с несколькими земляками (*nostrates*) для большего развития ума (*ad capessendum ingenii cultum*). Здесь Авл Геллий сближается с Геродом Аттиком. Это последнее имя направляет наше внимание к очень влиятельной во II в. группе деятелей просвещения писателей, риторов, ученых, которые в то же время занимали административные и судебные должности или вообще в какой-либо мере являлись орудиями власти, участниками управления, провозвестниками правительственных взглядов и намерений династии Антонинов, от Траяна до Марка Аврелия: в такой роли мы видим Диона Хрисостома, Плиния Младшего, Тацита, Светония, Ювенала, позднее Арриана, Фронтон, Фаворина, Элия Аристид, наконец Лукиана.

Согласно идеалу римского стоицизма, император поставлен в мире для того, чтобы быть спасителем человечества, его деятельность проходит под знаком «филантропии»; общая цель, к которой ведет правительственная работа,—просветление умов, установление мира на земле, устранение злых предрассудков, искажающих отношения между людьми; художники слова, ученые, преподаватели философии и риторики—вот прямые и наилучшие возвестители идей спасения, которое состоит в моральном воспитании общества, освобождении умов от суеверий, от ложных страхов, колдовства, веры в демонические силы и т. п.

Философия стоиков, политика Антонинов, сочинения, речи и лекции просветителей, разумеется, имели определенную социальную окраску; они были обращены к аристократическим, зажиточным, литературно и философски образованным слоям общества.

Мне не нужно объяснять, что высшие слои общества II в., те классы, интересам которых служила императорская власть, в которых она в свою очередь искала поддержки, существенно отличались от аристократических кругов империи I в., от высокомерного нобилитета, жившего традициями блистательной эпохи завоеваний. Вместе с распространением права римского гражданства на провинции, на окраины стала исчезать узкоплеменная исключительность римлян, понятия *Romani*, *ra*х *Romana* получили другой смысл—значение культуры вообще, культуры общечеловеческой.

Насколько непохожи были Антонины на Юлиев—Клавдиев, бережливые, экономные, практичные, рассудительные, веротерпимые, настолько направляемые ими в провинции администраторы и покровительствуемые ими ритора, научно-философские деятели и публицисты отличались от Колумеллы, Веллея Патеркула, Сенеки своим более широким кругозором, своим космополитизмом. По большей части это были уже не римляне по происхождению (Дион Хрисостом из Прусы в Вифинии, Фронтон из Цирты в Нумидии, Фаворин из Арелате в Галлии, Арриан из Нико-медии у Босфора, Лукиан из Самосаты на Евфрате); но и римляне в этих рядах учителей, пропагандистов культуры были не прежние, сознававшие себя владыками мира, прирожденными господами сравнительно с остальными народами, стоящими гораздо ниже по моральному достоинству и гражданской ценности.

В сознании образованных римлян II в. сказалась еще одна перемена. В период политического высокомерия и в некотором противоречии с этой спесью римляне усердно учились у греков, заимствовали у них, подражали им. Теперь они выросли в самостоятельную интеллектуальную силу; они стали способны взять на себя ведущую роль в распространении просвещения, заступить место ослабевшей в своей энергии греческой школы.

К этой новой группе римских деятелей просвещения принадлежит Авл Геллий. Хотя он выдвинулся под покровительством марафонца Герода, хотя почерпнул вдохновение от поездки в Афины, он, однако, уверенной рукой пишет формулы римской мудрости. Авл Геллий—младший современник великого юриста Гая, у которого впервые отчетливо начерчено *ius naturale* как основа общечеловеческого права. По своему происхождению идея естественного права принадлежит стоицизму, философии греческой, но воплощение этой идеи в юридической науке есть творческое дело римского гения.

Авл Геллий не только современник Гая, но и единомышленник великого юриста, поскольку оба являются последователями моральной философии стоицизма, теперь уже принявшего очертания римского политико-юридического мировоззрения. В *Institutiones* под заголовком «*de iustitia et iure*» мы находим три морально-юридические заповеди. *Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*. В параллель к этим заветам теоретика-юриста, выраженным в отвлеченной форме, можно поставить также три заповеди, лишь более конкретного характера, у Авла Геллия, в «*Noctes Atticae*» (кн. II, гл. 7). Здесь под заголовком, который на первый взгляд может показаться отвлекающим от существа дела, помещен сжатый, но очень отчетливый и содержательный, принципиально-формулированный моральный кодекс.

Заголовок гласит: «О долге (*De officio*) детей относительно родителей и о тех философских книгах, в которых исследуется вопрос о том, должны ли дети всегда и во всем слушаться своих отцов?».

По словам Геллия, среди греческих и римских философов вопрос обсуждался и обсуждается самым живейшим образом. Он добросовестно отмечает три мнения: 1) отцовской власти надлежит безусловно повиноваться; 2) отцовской власти в иных случаях должно повиноваться, в других нет; 3) отцовской власти не должно повиноваться ни в каком случае. Он отвергает без колебания первое мнение: «Как,—воскликает он,—если отец прикажет предать отечество или убить родную мать, или вообще прикажет сделать что-либо подлое или нечестивое (*alia quaedam imperabit turpia aut impia*), разве мыслимо повиноваться?» Третье мнение он не может принять потому, что оно, с первого взгляда, слишком цинично (*infamis*). Таким образом, за исключением двух крайних мнений, остается принять второе, посредствующее мнение: отцовская власть не может быть безусловной; она подлежит ограничению; все дело в том, чтобы найти мерилло ограничения, которое, в свою очередь, должно быть безусловным. И мы услышим сейчас от Геллия формулу абсолютной морали.

«Поступки человеческие, как это признали ученые (*docti*), разделяются на честные (*honesta*) и подлые (*turpia*). Что касается дел, которые по своей внутренней силе являются правильными и честными (*quae sua vi recta aut honesta sunt*), каковы: соблюдать верность или хранить честь (*fidem colere*), защищать отечество (*patriam defendere*), любить друзей (*amicos diligere*), то их следует исполнять, независимо от того, приказывает ли отец поступать так или не приказывает. Но дела, которые противоположны вышеназванным, которые постыдны и вообще несправедливы, не следует выполнять, даже если бы они исходили от чьего-либо приказа».

После формулы безусловной морали и ее противоположности Авл Геллий упоминает о категории средних, морально безразличных поступков, и тут мы, к некоторому удивлению нашему, встречаем почти всю совокупность обыденных, бытовых и гражданских отношений. «Те дела, которые находятся посредине и которые греки называют безразличными (*ἀδιάφορα*) и средними (*μέσα*), как то: выполнять военную службу (*in mili-*

tiam ire), обрабатывать землю (rus colere), занимать высокие должности (honores capessere), вести процессы (causas defendere), вступать в брак (uxorem ducere), отправляться в служебную поездку (iussum proficisci), являться к ответу в суд (arcessitum venire),—подчиняются иному правилу: так как они сами по себе, по своему существу не принадлежат ни к честным, ни к подлым делам,—а становятся тем или другим в зависимости от нашего поведения (perinde ut a nobis aguntur), то они подлежат одобрению или осуждению, смотря по характеру действия (ipsis actionibus); в делах такого рода авторитету отцовской власти предоставляется соответствующий простор».

Я привел целиком замечательную, как мне кажется, выдержку из «Аттических ночей». Конечно, я не открыл ничего нового: филологам-классикам и знатокам древней философии это место, разумеется, давно и хорошо известно. Но я позволю себе заметить, что до сих пор этому месту у Геллия и вообще суждениям Геллия как моралиста не придавали должного значения. Я думаю, что никто не сможет указать писателя античности, который с такой отчетливостью формулировал бы моральные понятия высшего римского общества II в. н. э.

Отмечу одну черту, которая мне кажется наиболее характерной: мораль, излагаемая Авлом Геллием, абсолютна и в то же время безрелигиозна. Не упоминается о высшем надземном авторитете, от которого исходили бы моральные предписания и который творил бы затем суд над людьми. Честные и подлые дела различаются по своему внутреннему существу, а не по какой-либо печати, наложенной извне. Нет понятия о грехе как нарушении заповеди любви к богу, как оскорблении неисповедимой мировой воли. На первом месте выше всех моральных требований поставлена честь, верность человеческая—*fidem colere* (у Гая *honeste vivere*). Это чисто римское понятие позднее, в христианской морали исчезает и даже у такого строгого инквизитора, как Августин, подвергается осуждению, как грех человеческой гордыни.

Безрелигиозность в морали не есть безбожие. Авл Геллий не атеист. Он ограничивается лишь указанием на невмешательство божества в жизнь людей, на самостоятельность морального поведения человека, на ответственность его только перед самим собой. В этом смысле у Геллия есть очень отчетливое суждение, облеченное в форму цитаты из речи Метелла Нумидийского.

Любопытно, что из этой речи, посвященной вопросу конкретному—о неразрывности брачного союза, Геллий извлекает ряд общих моральных положений и вообще оценивает ее с точки зрения своей моральной философии. Так, например, он приводит выражение Метелла: *saluti perpetuae potius quam brevi voluptati consulendum* (надо думать о вечном благе больше, чем о минутном наслаждении).

По вопросу, нас занимающему, мы читаем (кн. I, гл. 6) следующее рассуждение, извлеченное Геллием из речи Метелла: «Боги бессмертные имеют великую силу (*plurimum possunt*); но в отношении к нам они не должны домогаться большего (*non plus velle debent*), чем наши родители. Ведь родители, если видят, что дети упорствуют в своих заблуждениях, лишают их наследства. Так и нам нечего больше ждать от богов бессмертных, кроме того, что они положат конец злонамеренности (*malis rationibus*) нашей. Поэтому справедливость требует, чтобы боги благоприятствовали тому, кто сам себе не враг (*his demum deos propitios esse aequum est qui sibi adversarii non sunt*). Боги бессмертные должны лишь одобрять добродетель, а не подсоблять ей (*dii immortales virtutem a p p r o b a r e, non adhibere debent*)».

Здесь выражена стоическая точка зрения на божество: высшая мировая

сила лишь ставит идеал человеку, обращается к лучшим свойствам его натуры, но не хочет держать его в поводах, предоставляет ему свободу действий: злонамеренность, безнравственность отвратительны не потому, что оскорбительны для богов, а потому что они постыдны (*turpia*) сами по себе, потому что, отдаваясь им, люди становятся врагами сами себе (*sibi adversarii sunt*).

Вопрос о характере божественного промысла, о роли богов среди борьбы между добром и злом в человеческом мире очень занимает Авла Геллия. Он еще раз вплотную обращается к рассмотрению этой темы моральной философии в кн. VI, гл. 1. Здесь он подробно излагает, в очень интересной диалогической форме, содержание книги Хрисиппа (280—206 гг.) Περὶ προνοίας. Перед нами вполне вскрывается оптимизм стоиков в их суждениях о нравственной природе человека. Вывод, который делает отсюда Геллий, состоит в том, что высшей мировой силой, божеством или природой, человеку дан разум и способность к добру, что роль божественного промысла не идет далее внушения человечеству правильного, сообразного природе образа мысли, что так же, как болезни составляют нарушение данного природой естественного здоровья, и пороки, злонамеренность человеческая, образуют противодействие природе; что человеку дана свобода воли, а если он не следует влечениям, внушенным природой, он сам виноват и несет за это кару.

Приведенные мной отрывки из «Аттических ночей» не составляют оригинальности Авла Геллия. Ему только удалось схватить моральную философию стоиков с ее, так сказать, драматической стороны, представить противоположность старинной морали, морали общества, подчиненного деспотизму, слепо ему подчинявшегося, и морали нового века, века морали сознательных личностей, способных различать добро и зло по внутренним качествам поступков.

Теперь я приведу один отрывок из II книги (гл. 18), где за Геллием можно признать оригинальность или, по крайней мере, самостоятельную инициативу в выборе сюжета: хотя он приводит факты общеизвестные, упоминаемые в других источниках, но самый подбор их обнаруживает очень определенную тенденцию новаторства.

Заголовок гласит так: «О том, что сократик Федон был рабом и что очень многие другие (философы.—Р. В.) служили рабскую службу». В тексте мы читаем: «Федон, ученик Сократа и близкий друг (*familiaris*) Платона, был рабом: красивый и свободный духом (*ingenio liberali*), он отдавался на разврат своим господином (a lepore domino); говорят, что его выкупил сократик Кебет, по внушению самого Сократа; он стал впоследствии знаменитым философом. Его речи о Сократе написаны с изяществом и легко читаются».

«Многие другие, выйдя из рабского состояния, сделались знаменитыми (*clari*) философами; из них особенно замечателен Менипп, сочинениям которого подражал в своих сатирах М. Варрон: другие называли эти сатиры киническими, он сам Мениппейскими. Также у перипатетика Теофраста был раб Помпия, у Зенона стойка раб по имени Персей, у Эпикура раб по имени Мус, все трое впоследствии знаменитые философы. Также и киник Диоген служил рабскую службу. С ним, впрочем, дело обстояло так: он из свободного состояния продан в рабство; когда его захотел купить коринфянин Ксениад и спросил, какое он знает мастерство, Диоген ответил: «а я умею управлять свободными людьми». Передавая ему своих сыновей, господин сказал: «ну вот и возьми их под свою команду». Совсем еще свежа память об Эпиктете, философе почтенном (*philosophus nobilis*), который находился в рабстве. Между прочим от Эпиктета сохранилось два стиха, тайный смысл которых в том, что не все те бывают

ненавистны богам, кто в жизни своей испытал бездну несчастий; но что есть скрытые истины, которых достигает пытливость лишь немногих:

«Я был рабом и увечным, я был и нищим, а стал другом бессмертных».

К этой главе нет ни комментариев, ни выводов. Спрашивается, однако, зачем филолог и археолог Геллий сделал этот подбор? Для чего нужно было собирать примеры, в результате которых оказывается, что многие философы вышли из рабского состояния: Авл Геллий вращался в кругах аристократических, в среде зажиточных людей, обладателей множества рабов. Не были ли его сопоставления признаниями расчувствовавшегося, кающегося рабовладельца, своего рода воззванием к реформе в положении рабов, призывом, принявшим форму идеализации раба, объявления угнетенного, нищего страдальца кладезем мудрости и справедливости.

Сборник «Аттических ночей», носящий форму публичных лекций, написан для изысканной публики. Автор не исходил от желания говорить неприятности слушателям или читателям, высмеивать бытовые условия рабовладельцев. Но, с другой стороны, задача предложить реформу в обращении с рабами, внушая мысли о том, что в громадной массе эксплуатируемых кроются и таланты, и знания, и мудрость истинная, и дух справедливости,—такая задача могла вполне отвечать одновременной с выходом книги филантропической политике в период Антонина Пия и Марка Аврелия.

Как бы ни объяснять внутренние мотивы помещения в «Аттических ночах» сведений о рабах-философах, несомненно, что Авл Гелий принадлежал к просветительному направлению, представители которого вели пропаганду в пользу улучшения социально-юридического положения рабов, апеллируя к разуму и лучшим чувствам интеллигентных рабовладельцев. В какой мере можно признать это направление передовым, легко показать сравнением его с рассуждениями, например, Сенеки, который впервые заговорил о человеческих правах, о человеческом достоинстве рабов, но решался затронуть этот трудный, сложный, крайне болезненный для рабовладельцев вопрос только в интимной переписке, в советах близкому другу. Рассуждения и советы Сенеки были очень робки, сдержанны и осторожны. Призыв к более мягкому обращению с рабами входил в общую программу практической морали, рекомендуемой Сенекой: стремиться к равновесию духа, успокоению от страстей, от необдуманных порывов, о чем он неумолчно говорит в сочинениях: «*de ira*», «*de clementia*», «*de tranquillitate animi*», «*de beneficiis*».

Сенека предлагал эту программу жизни не всему рабовладельческому обществу, а обращался к избранным натурам, к *virī boni et sapientes*, к тем, кто хотел вести святую жизнь, далекую от светскости, всяких утех и наслаждений. Нечего и говорить, что в обращениях и речах Геллия совершенно иные масштабы: перед ним широкая общеимперская аудитория; вопрос о положении рабов, об обращении с ними обсуждается публично; Геллий переносит беседу о человеческом достоинстве рабов на историческую почву, говорит о культурных заслугах философов, вышедших из рабского звания.

Такова перемена, совершившаяся в умах высшего римского общества за 100 лет приблизительно. Интересна одна частность этой эволюции. В гуманитарных советах и призывах Сенеки господствующую роль играет мотив спокойствия, равновесия духа: одинаково, как к государю так и к рабовладельцу, обращается он с усердной мольбой—сдерживать свои непосредственные порывы, свои стихийные влечения во имя величия своего разума, во имя своей гордости, законной гордости неограниченного правителя и господина. У Авла Геллия совсем иное понимание «спокойствия духа». Идеал, выставленный Сенекой, не удовлетворяет его, подвер-

гается у него осмеянию. Так, по крайней мере, я понимаю один очень своеобразный по форме отрывок из «Аттических ночей» (кн. I, гл. 26). В заголовке значится: «О том, как философ Тавр ответил на мой вопрос: способен ли философ поддаваться гневу?».

В тексте рассказывается случай из жизни Плутарха. Однажды Плутарх велел за какую-то провинность высечь розгами своего раба. Наказуемый, человек образованный, стал кричать, браниться и упрекать Плутарха за то, что господин нарушает требование своего же собственного трактата *Περὶ ἀσυχνείας* («О воздержании от гнева»). Плутарх ответил на обвинение тихим, спокойным голосом: «где же ты на моем лице видишь признаки гнева? Ведь у меня кровь не бросилась в голову, и пены нет у рта, и не трясутся члены от ярости?» После этого ответа он приказал секущему продолжать удары.

Не представляется ли вам рассказ о Плутархе очень тонкой и злой сатирой на непоследовательного философа, который остался вместе с тем вульгарным жестоким рабовладельцем?

Плутарх—очень видная фигура в ряду теоретиков моральной философии; он—продолжатель Сенеки и один из зачинателей «филантропии», которая становится главным кличем писателей, ораторов и правителей II в. Если Сенека на целое столетие отстоит от эпохи Антонина Пия и Авла Геллия, то Плутарха (умер в 125 г.) отделяет от нашего автора не больше полувека. И, однако, мораль Плутарха кажется Авлу Геллию отсталой, сопоставление его теории с ее практическим применением обнаруживает резкое, вопиющее противоречие.

Эволюция идей в греко-римском обществе идет быстрым темпом. Антонин Пий, Марк Аврелий, юристы, философы, риторы, окружавшие их, занимавшие административные должности или работавшие в качестве распространителей просветительных идей, Фронтон, Аристид, Арриан, Авл Геллий, Лукиан были люди, исполненные наилучших намерений. Их целью было дать обществу прочные основы морали, пробудить в коснеющих кругах его активную энергию. Но как они сами, так и публика, к которой они обращались, были связаны понятиями, чувствами и предрассудками социальной среды, к которой они принадлежали. Их реформаторский пыл должен был неизбежно погаснуть в социальной крепости, которая была одновременно их твердыней, их гордостью и их пленом.

Хранить свою честь, защищать отечество, любить своих друзей—ведь этого можно было требовать только от людей свободных, способных располагать своей волей. *Honeste vivere*—можно было требовать только от *honestiores*, на то они и были взысканы всеми милостями судьбы. Но был ли какой смысл обращаться с воззваниями подобного рода к *humiliores*, к массе презираемых, угнетенных нуждой и тяжелой работой людей, к необозримой массе невольников? Как мог бы поддерживать свою честь тот, самое звание кого было и символом, и фактом бесчестия? Также бесполезно, неуместно и жестоко было обращаться к бедноте, к подавленному работой плебейству, к рабам с горячим уверением, что из их среды, из самого низкого звания вышли знаменитые философы.

Стойческая мораль, выраженная у Авла Геллия, была наибольшим достижением, на какое способно было аристократическое рабовладельческое общество Римской империи.

